



КИРА САПГИР

Поэт, прозаик, журналист, литературный переводчик

Родилась в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков (французское отделение). Автор сборников детских стихов, сказок, сценариев мультфильмов. С 1978 года живёт в Париже. Сотрудничает с русскоязычными и российскими газетами и журналами, постоянный автор парижской газеты «Русская мысль». Член Международного ПЕН-клуба, Международного союза журналистов, Союза писателей Москвы. За годы жизни в Париже выпустила книги «Ткань лжи», «Дисси-блюз», сборник рассказов «Оставь меня в покое», а также сборник эссе и очерков «Дуэли и дуэты», увидевший свет в петербургском издательстве «Алетейя».

За последнюю книгу получила почётный диплом фестиваля «Зелёная волна» (Одесса, 2006) как автор лучшей книги в жанре нон-фикшн. Переводчик французских поэтов, в том числе Жоржа Брассенса (около 20 песен), и почти целиком — «Золотой книги французской народной поэзии», которая скоро выйдет на компакт-диске в аранжировке Пся Короленко.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ

Поэзия — приобщеник к святости

Но кто напишет мой портрет,
Тому несчастье выйдет в мире.

Ранний Стас Красовицкий

В сказочно далёком 1959-м, когда всё ещё дарили друг другу картины и читали друг другу стихи, существовала замечательная комната в коммуналке на Большой Бронной в ветшающем здании времён 30-х. Комнату называли на западный манер — Мансардой. В этом узком помещении на верхнем этаже по стенам и потолку растеклось пятно невероятной красоты: выдержанное в грязно-серо-буро-зелёной гамме, оно смотрелось абстракцией Полокса, чем немало гордилась хозяйка — Галка Андреева.

Изящная Галка. Чёрная чёлка, высокие скулы, французский факультет инъяза, шепелявость. В стихах простодушие ранней Ахматовой. Росинки в янтарных рысьих глазах. Чёрный узкий свитер. Волосы стянуты в конский хвост жёлтой пластмассовой заколкой (под янтарь!). Она перепрыгивает с сердца на сердце, как белочка с ветки на ветку, — так говорят о ней.

В Мансарде Большой Бронной собирается бомонд — beau monde. Прекрасный мир. Компания — в основном студенты инъяза и филфака МГУ. Завсегдатаи — похожий на Тютчева Андрей Сергеев. Неприятный Леонид Чертков — «всегда оживлённый, в избытке сил, фаллически устремлённый» (едкое описание А. Сергеева). Олег Гриценко, Николай Шатров, Валентин Хромов — люди тонкого помолы. Эрудиты, полиглоты. Орден посвящённых. «Цех» — так называл их Стас Красовицкий, силовая ось компании, поэт необычайной динамической силы.

На Мансарде была твёрдая установка: никто ни в коем случае не должен стремиться печататься. Смешно, конечно, утверждать, что для поэзии самое опасное, когда стихи пишутся в стол. Стас Красовицкий, например, смог бы писать и в пустыне, и в тюрьме в одиночной камере.

Да и «писание в стол» вовсе не означало незнания, непризнания — скорее, наоборот.

Эхо стихов — вне типографского прессы — раскатывалось с курьерской скоростью по обеим столицам. Стась сегодня читает на Большой Бронной, а завтра его стихи, глядишь, уж повторяют в подвальном заныре Северной Пальмиры.

На восковых табличках памяти воочью впечаталось: венецианское окно, выдвинутое углом в гулкий глубокий арбатский двор с неряшливым тополиным пухом. В раме окна, на небесно-латунном фоне заката, вырисовывается гордая голова в профиль: надменный рот, на белом лбу щербинка — словно кто-то колупнул эмаль. Пепельно-серый старомодный пиджак из добротной материи — такими, верно, торговал его дед-мануфактурщик, покупавший в Лондоне сукно и шевиот для своей лавки в Лодзи.

Прислонясь к пианино, поэт читает по клеёнчатой тетрадке:

И я один.
 Рука пуста, как солнце.
 Что я сжимал —
 какой-то мандарин?
 Простреленное девочкино сердце?
 Что я сжимал?
 Какое-то ничто...

Стас Красовицкий — «Красавец Стась». Вокруг этой знаковой харизматической фигуры, энергетического эпицентра компании, витала атмосфера всеобщего почитания, восторга, аура личной тайны.

О его жизни знают сравнительно мало. Известно, что родился он в 1935 году, кажется, в Карелии, в семье крупных инженеров. Его детство прошло на Аральском море. Он рассказывал в одном из редких интервью, как на пустынном берегу они вместе с дядей-ихтиологом вываривали в кислоте моллюсков. Затем разглядывали под микроскопом оставшийся легчайший известковый узорный остов. Пожалуй, скорей всего именно этим разглядыванием заложено в нём изначальное знание о том, что в остове настоящей поэзии лежит иероглиф, тайная решётка, совершенный каркас, на который крепится гармония формы.

В семилетнем возрасте были им написаны первые стихи. По его словам, то были лучшие его стихи. Он жалеет, что эти стихи не сохранились.

Затем Москва, где Красовицкий учится в специализированной школе, с англоязычным уклоном. Эта спецшкола на севере Москвы, созданная,

согласно легенде, по личному приказу Сталина, походила на привилегированный английский колледж. Там царила атмосфера свободы, поощрялись сочинения на вольные темы, приветствовалась оригинальность мысли. Оттуда шли напрямиком в МГИМО и в Инъяз.

В школе читали полузапрещённых Л. Андреева и С. Есенина, в программу старшеклассников входили Киплинг и Элиот в оригинале...

А в начале 50-х он начал писать стихи, в которых произошёл невероятный сейсмический сдвиг, выломавший их из общепоэтического пласта.

К какой школе можно было отнести эту поэзию? На какую молекулярную решётку накладывается энергетическая формула этой словесной алхимии? Откуда взрывная сила сочетаний этих слов?

...В фарфоре его мысли — ветвится напросвет поэзия кровавого разлива:

А летят по небу гуси да кричат,
в красном небе гуси дикие кричат,
сами розовые, красные до пят.
А одна не гусыня —
белоснежный сад...

Красовицкий с ходу миновал уровень исповедальной лирики. Разглядев свой мир, величественный и пугающий, он в страшной спешке стал воссоздавать увиденное, используя на максимуме речевой гротеск.

...День «плавал утопленником в кресле, приняв за небо полинявший плюш».

Пруд глядит немигающим «рыбьим глазом».

... «Деревянное небо» ...

... «Деревянная осень»,

... «Деревянные крики» ... etc.

Этот мир, все его формы призрачно-зыбки, но сама их структура полна конкретной, зачастую тактильной «вещности»:

Внутри ладони, словно в конуре, горит окуроч —
зачаток света...
силуэт дороги...

Человека (лирического героя) — нет. Есть «люди, похожие на прихоти женьшеня».

Пианистка бросается «на бело-чёрный оскал» клавиш, и «страшны от угла до угла разбросанные кисти рук».

Герметизм увлекает к чувственному язычеству. Здесь возникают эротические мотивы, где Красовицкого интересует не психология,

а плоть — страдающая, распадающаяся, пронизанная предчувствием неизбежной смерти:

...Меня мама спрашивает часто.
Ничего не скажу о нём.
Он похож на воспитателя в яслях.
Он работает палачом.

О, какая страшная читка
срамных знаний в его очах,
о, какая сладкая пытка
быть любовницей палача...

Мир Красовицкого — это Великий грядущий потоп, руины третьей мировой войны, грядущая пустыня.

Там снегопад — «рота солдат на парашютах спускается в ад».

Там даже звезды «обречены на распад».

Его маньеризм переходит в волчий рык:

...И когда подойдёт мой срок,
как любимой не всякий любовник,
замечательный красный шиповник
приколю я себе на висок...

Красовицкий не изображал апокалипсис, не пророчествовал. Для него бытие было сильнее Бога.

Он как будто предчувствовал скоротечность своего взлёта. Шла духовная работа на износ, самосжигание. Он предчувствовал, что под напором этого страшного духовного напряжения неизбежно распадется его художественная система. А затем «форточка в мир, где пространства, быть может, немного побольше, чем в вашей душе» — закрылась.

В конце 60-х в эту исключительную поэтическую судьбу вторглась старая как мир история: Поэтом, чьё место на книжной полке подле Хлебникова сегодня остается пустым, — «завладел Христос».

Благочестивый сценарий прошёл по «заданному» курсу: «озарение», переворот, отвержение «ветхого Адама» — всё ради духовной безопасности. Ему тогда открылась иная философская система координат. По этой схеме противостоят друг другу два начала: горизонталь — то есть духовная пустыня, наполненная суетой, иллюзиями, игрой воображения. Туда, в пустыню, отвесно падает «вертикаль» благодати — солнечный луч, выжигающий всё лишнее, постороннее. Эта вертикаль позволяет «падение вверх». Пересечение двух координат в профиль даёт Крест.

Подобное же построение — пересечение вертикали Благодати с плоскостью Бремни — укладывается в экзистенциальную вселенскость грандиозной мыслительницы XX века Симоны Вейль.

Вейль распяла на Кресте свою жизнь.

Красовицкий поставил Крест на своём Даре.

...И посетил его соблазн. И представились ему собственные стихи грехом, порчей, наносящей непоправимый вред душе человека, — «прелестью». Поэзия увиделась ему сферой Сатаны, стремящегося заместить, сместить Творца.

Поддавшись «Божескому искусу», свой дар он отныне нёс как грех — выдавливал из себя по капле Поэта.

Такова Божья уловка. Вот та Высшая Сделка, которой соблазнил его Верховный Продавец.

В великой литературе трагические сюжеты повторяются. Красовицкий сжёг свои стихи и тем самым осуществил искупление — такой традиционный покаянный мифоритуал в русской культуре установил ещё Гоголь.

Совершив «очищающее» аутодафе, отрекшись от самого себя, поэт и вовсе... решил запретить свою поэзию. Отказался от перепечаток. Пытался конфисковывать свои стихи, где бы их ни находил. Подобно Кафке, требовал от знакомых, у которых хранились списки, их уничтожить. Многие наотрез оказались. Но многое погибло безвозвратно.

Перейдя к «творчеству жизни», Стас облачился в священнические одежды. Став отцом Стефаном, служит в убогом карельском приходе.

Самоиссушение дара сказало даже внешне. В дальнейшем на его лбу образовалось странное утолщение — не то третий глаз, не то несводимое клеймо, как у рабов древнего Рима.

Разрыв с самим собой совсем его не огорчает. Он получил в удел бело-телую мадонну, которая дала ему детей. Он даже пишет стихи, но они уже вреда никому не принесут.

И есть два мифа о Красовицком. Первый — мощный миф о непокорном борце, который уничтожает свои стихи во имя Вертикали Истины — миф, созданный им самим.

И есть другой миф — «горизонтальный» — о неуправляемой стихии, чьё имя Самиздат. Оттуда, из Самиздата, Красовицкий изо всех сил годами пытается изъять подчистую свои стихи. А Самиздат сопротивляется и мстит поэту. В машинописных списках, а сегодня — в блогах и на интернет-сайтах гуляют его стихи, не подчиняясь указу, сплошь и рядом искажённые, перерванные, с перепутанными строками. Попадают даже стихи-самозванцы: под чужим именем где-то оказываются напечатаны стихи Красовицкого, а чужие, более слабые, наоборот, приписываются ему... Поэт негодует, отрешивается, требует искоренения из альманахов и антологий — всё

напрасно. Благодаря самиздатской вольнице его стихи живут-поживают собственной незаконной жизнью — такой же, как сам Самиздат.

Ему, Самиздату, никто не указ — как и самим стихам:

И понял я,
 что жизнь моя мала.
 Что главное для жизни —
 ЗЕРКАЛА,
 чтоб видеть самого себя дотла.
 Чтобы ничто вам руку не держало.
 Чтоб ваш же воротник
 принадлежал вам.
 Чтоб были вы друзьям своим видны.
 Чтоб ваш двойник
 не вышел из стены.

Аида, или бесцеремонность и безмятежность

Она любит голубоглазых кошек.
 Она любит псов сероглазых.
 Она с виду нищенка и герцогиня:
 Носит деревенские косынки и длинные юбки
 Любит синие и зелёные туфли,
 Золоту серебро предпочитает.

По паспорту она — Аида.
 По созвездию — Лев.
 По псевдониму — Любовь.

Женщина, нищенка,
 Что же ты ищешь,
 Что же ты нижешь
 «На нет» бисеринки,
 Свои слезинки...

(1956)

— Я — женщина деревенская, — заявляет она при первом же знакомстве.
 Разговоры её не похожи на будничные,
 жесты сдержанны,
 речи насмешливы,
 язык как бритва,
 нрав скандальный.
 У неё узкие локти прижаты к узкому туловищу, как у строгой деревянной
 святой в средневековом соборе.

Глаза сверкают, как осколки синего стекла.

Лицо острое.

На щеке ямка.

На губах усмешка.

На лбу чёлка.

Профиль Данте.

Усмешка Вольтера.

Известно, что она родилась в деревне Кукуево. Что в этой деревне с анекдотическим именем в семьях голубоглазых русоволосых псковичей нет-нет да и выкатится на свет Божий девчонка, чёрная, как уголёк в чугунном уютге.

Известно, что она с молодых ногтей была близким другом и соратницей Юрия Галанскова, что отправной точкой её диссидентства была «Маяковка», где выступал Галансков:

Лицо Галанскова смеётся, над площадью
 потерянный Ангел повис,
 игра торжествует над ложью, над пошлостью,
 верхи опускаются вниз...
 (*«Праздник на площади Маяковского»*)

Известно, что она бушевала на Процессе Четырёх, защищая друзей, что она вообще всегда яростно защищает друзей и не боится ни врагов, ни властей.

Но начнём мы вот с чего. В тёплой арбатской летней ночи, под фонарями, еле пропускающими свет сквозь загаженные голубями стёкла, мы совершаем пиратский рейд по тихим дворовым лабиринтам и садикам с уснувшей черёмухой. Орудя маникюрными щипчиками и ножницами, взламываем хлипкие замки у сараюшек — выгребаем позеленевшие подсвечники, треснувшие зеркала в рамах с облупившейся позолотой и прочие ржавые раритеты...

Собственно, орудует Антонио, португалец, нечаянно попавший в Москву и столь же отчаянно свалившийся в жизнь Алёнки Басиловой — Баси. Свахой стала Аида — направила юношу в квартиру, полную бубенцов, сломанных абрамцевских рамок, ободранной мебели, подсвечников, серебряной пыли и моли.

У пиратки-Баси зелёные, как у стрекозы, глазища — горят в арбатском дворовом мраке.

Она — поэт. В её стихах открыл редчайший размер Квятковский.

Она — ночная бабочка, променявшая день на ночь.

И сегодня она всё так же живёт в ночи, всё так же умеет смеяться над собой и с собой:

— «Я орёл, я летаю одна...»

...Из подворотни навстречу нам выходит человек в белом свитере крупной вязки с разодранным рукавом. По рукаву из разодранного же запястья струится кровь, чернея в лунном свете. На локте у человека плетёная корзина, откуда выглядывает букет сервелата в обрамлении валютных банок растворимого кофе. Через плечо перекинута махровое полотенце.

— Хмелёв, — истекая чёрной кровью, представляется мужчина. — Аида велела принести ей еду, завтра она уезжает с детьми в Кукуево. Я по дороге залез на чердак, там на верёвке белье сушилось, чтобы для неё своровать полотенце, и вот, распорол руку о какую-то железяку... Теперь она меня ругать будет — с этими словами человек исчезает, растворяется во тьме, чёрной, как растворимый кофе.

Известно, что Хмелёв — один из мужей Аиды (в девичестве Топешкиной) — звался до женитьбы Аронзоном. Жена заставила его поменять фамилию.

«Боги злы, а люди слабы» — очень сильная строчка в одном из самых сильных стихотворений Любви Молоденковой.

Боги наделили её удивительными свойствами характера. Она не способна на тоску и досаду — может только гневаться и радоваться. Ещё наделена она способностью восхищаться: стихами, цветами, лесами и древними зданиями — всем, что может обогатить её мир.

Благосклонная судьба всегда окружала её толпой значительных людей. Сквозь её московскую квартиру тянулось шествие: здесь можно было встретить богемного художника и литератора-отказника, «левого» поэта, дворника, иностранного дипломата...

Читает стихи Сапгир. Играют в шашки полупьяный Зверев с фотографом Владимиром Сычёвым — тогдашним мужем Аиды. Выигрывает Сычёв — Зверев делает рисунок. Выиграл Зверев — Сычёв даёт ему рубль. В соплях и шелках бродит по дому дочь Аиды от японца — нежная и печальная Настя, «чайная роза в помойном ведре» — так называют её гости.

(На фотоплёнке памяти — оттиск: у Аиды в квартире на Староконюшенном летом мы пьём чай с дыней — очень изысканно! У самовара, неподвижно, как божок, восседает пятимесячная Настя и слушает 7-ю симфонию Малера.)

На ампирной оттоманке позапрошлого столетия, обитой посечённым атласом, хозяйка штопает чёрный свитер. Напротив корреспондентка иностранной газеты.

— Какой это был красивый свитер! — произносит она в пространство. — У меня нет второго такого, этот износился, мне надо ещё один, а вот у вас тоже очень красивый свитер...

Загипнотизированная корреспондентка стаскивает свитер с себя, протягивает, как жертвенные дары, Аиде, языческому идолу. В награду за жертвоприношение ей наливают горячий чай и угощают пряником.

(В нулевом пространстве вымысла я вижу, как во время вселенского катаклизма Аида на Луне штопает носки, уставив рядом прямые ступни-дощечки, покойно вглядываясь в космос.)

Всегда и всюду у неё караван-сарай, будь то ветхий особняк на Старо-конюшенном, полуподвал на Трубной либо парижский буржуазный дом. Повсюду на стенах иконы и прялки, на столе чай и сушки, на подушке — кошки. В салоне неизменно царствует рояль, укрытый до земли ковром. Под ковровым пологом порой находят приют бездомные парочки.

На кухне у Аиды рядом сидят печальные подруги: их Аида учит жить, удерживать возлюбленных, изгонять их — при этом непременно женить на себе.

Известно, что
у неё самой было пять мужей —
каждый подарил ей по ребёнку, а один — двух.

Её портреты рисовали Вейсберг, Зверев, Харитонов, Пурыгин.

...Что ещё?

Известно, что в полуподвале на Трубной, в конце семидесятых, Аида организовывала подпольные выставки опальных художников, и что посетители проникали на выставку ночами, влезая в окна, минуя топтунов.

Известно, что её безмятежность ещё более, нежели бесцеремонность, вызывала раздражение гебистов и домоуправов.

Впрочем, она всегда раздражала власти,
вообще всегда раздражала всех,
и более всего тем, что
для неё любая схватка —
будь то с властями, стихией, мужьями —
была прежде всего захватывающей опасной игрой:

Мне вся жизнь — война.
Мне тишины-оскомины не надо!..

О богемной барыне — Аиде — известно почти всё.

О поэте — Любове — не известно почти ничего.

Любовь Молоденкова пишет стихи всю жизнь, а публиковать их стала совсем недавно.

Совсем недавно три её книги увидели свет — в них есть стихи, написанные ещё в пятидесятых.

Тому причиной крестьянская стыдливость — достоинство-недостаток вкупе с самолюбием поистине «львиным».

А главная причина —

то, что стихи должны слушать не люди, а небеса, травы, Бог:

В тёмной хате на склоне дня
Мысль шальная меня посещает:
Мой Господь так меня отличает,
Что в свидетели выбрал меня...

По её книгам можно гадать на суженого, загибая уголки на страницах.
Порой её строки пронизаны яростной пантеистской чувственностью:

...Палевых роз бледных
утраченный аромат,
свежий, сырой, целебный
утренний разврат... —

и в этих внешне бесстыдных, неиссякаемо женских видениях — редкостная целомудренность.

Ибо страсть — необходимость для продолжения Рода.

Она — последний акмеист. Осколок Серебряного века. Все её стихи — исповедальная лирика. В поэтике преобладают не музыкальные (как у символистов), а пластические построения, а пламенная влюблённость в реальность расцветивает самые серые будни:

Пойду уборщицей в метро.
Там стены белые лукавят,
Там на ступени трости ставят,
На переходах пьют ситро —
Пойду уборщицей в метро.
<...>
Для пассажиров запоздалых
Я повяжу платочек алый,
Взгляд опущу, притворно строг, —
Пойду уборщицей в метро...

Трёхмерный первозданный мир её стихов полон земной красоты, телесных радостей. Она не боится ничего, спокойно принимает всё — смерть, бессмертие, Христа:

Три бабы на красном крылечке
поют, и далече-далече
живая молитва слышна.
Поют голоса в поднебесье:
«Воскресе, Христосе, воскресе...»
С той ночи мне смерть не страшна.

Безмятежность и бесцеремонность противостоят (не отрицая) всяческой (политической, бытовой и прочей) суеде.

Эта поэзия — не отстранённое созерцание мира, но школа, где учатся видеть красоту во всём.

Напоследок расскажу историю. Она про Аиду, кошку и шахматы. Но прежде чем начать её рассказывать, хочу признаться: я обожаю шахматы столь же пламенной любовью, сколь и платонической. Многие пытались научить меня играть в эту игру — но получались у меня всего два первых хода. Зато они, эти два хода, получались такие гениальные, что учителя, затаив дыхание, широко открывали глаза и говорили: «Надо же...»

А потом — всё! Я оставалась безнадёжно парализованной перед доской, на которой только что началась — ЖИЗНЬ! И какая жизнь! Вот бьётся в агонии, как у Пикассо в «Гернике», вороной конь, а король, дрожа, завернулся в мантию, от ужаса закрыв лицо руками... И тура обвалилась, а ведь крепка была твердыня! А всё отчего? Какая-то пешка, какая-то серость — и вдруг начала крушить это великолепное войско, грозить всему чёрно-белому чёткому миру. И я вижу, как из-за плебейской пешки этот мир необратимо меняется — как меняется всё время и наш мир, — и по нему бродят тени, он так же полон символов и контекстов, подобно китайским иероглифам, живущим по тем же законам, — так же меняя свой универсум в зависимости от соседства: то поле, то дырка, рыба, небо, тряпка или колесо...

И то же самое — когда гадаешь на картах: и там плавают смыслы, чёрные, красные, и вот уже тень падает на короля червей — твоего короля..., а вредный валет бубен уже несёт неблагоую весть, которую вскоре раструбит чернь шестёрка... Не думайте, что это уход в сторону, — это просто ход конём, имеющий к рассказу непосредственное отношение, и это далее станет ясно.

Итак, спускаясь однажды по винтовой лестнице своего парижского жилья, я на площадке этажом ниже обнаружила кота. Он был из чугуна, ажурного литья, с насмешливой мордой. Внутри был патрон, наверно, для свечи... Откуда этот кот у нас на лестнице взялся? Гулял сам по себе, вот и пришёл, решила я и положила кота в свою сумку.

Кот оказался довольно тяжёлым, поэтому мне стало лень заносить его к себе, заселять у себя в квартире. И я решила отнести кота к соседке Аиде. Аида жила на улице напротив.

— Где ты взяла ЕГО? Это же ОН! Я ищу его давным-давно, обошла весь город! — вскричала Аида. И вот что она мне сообщила: она давно ищет кота, с которым собирается прийти на Монпарнасское кладбище, на могилу великого шахматиста Алехина, почитаемого ею. Алехин был страшно одинок, у него никого не было на свете, кроме кота. И кот сидел всегда возле него, прямо на столе, во время всех чемпионатов.

Мы отправились втроём на Монпарнасское кладбище: я, она и кот из чугуна. Пришли на могилу, накрытую мраморной плитой в виде доски для шахмат, — и расстроились. Плита оказалась разбитой за год до того, когда над Францией пронёсся ураган. Мы посадили кота на разбитый шахматный мрамор. Выпили по напёрстку земляничного пиренейского ликёра и ушли. Было это 1 ноября, в День всех святых. Год спустя мы пришли наве-

стить Алехина и кота. Доску к тому времени поправили — постаралась Всемирная шахматная федерация. Но кота не оказалось.

— Не расстраивайся, что он ушёл. Раз ушёл, значит, придёт, — решила я, и так оно и случилось. На Атлантике, на острове Ре, где пляшут феи в лугах, заросших цикуттой, а ветры разгоняют тучи, я встретила чугунную кошку. Она сидела в антикварной лавке на набережной и смотрела с очень загадочным видом. Нечего и говорить, что я купила её и отвезла в Париж, где мой кот даже подошёл к ней поприветствовать и был разочарован отсутствием реакции с её стороны.

Близился новый День всех святых. Я пригласила Аиду к себе. К тому времени мы обе переехали и опять оказались в соседстве.

— Но откуда она у тебя! — вскричала она.

— Я же говорила: как ушла, так и придёт.

И мы, две сумасшедшие, опять оказались на кладбище, где похоронены всякие замечательные люди: например, есть могила великого «морепроходца», погибшего не во время кораблекрушения, а во время банальной аварии одного из первых поездов, который шёл в Нант.

На сей раз мы оказались во всеоружии. Мы поставили кошку на шахматное надгробие, закамуфлировали её какими-то кустиками, затем достали стеклянную банку, где был цемент, и бутылку с водой... В общем, мы закрепили цементом намертво кошку на могиле Алехина и вновь выпили ликёра, и потом пошли на Монпарнас в кино. И это был очень мягкий и нежный день — День всех святых, когда мёртвые, по слухам, бродят по кладбищенским аллеям, смешиваясь с посетителями... И мне было жаль чугунную кошку с вольной Атлантики, которая больше не сможет сбежать. С тех пор я туда больше не хожу — по двум причинам: страшно, что кошка опять ушла, — и что она там осталась.

Осталось добавить только, что в Индии существовала особая игра в шахматы — игра после мата. Её правила утеряны либо хранятся в тайне. Но мне кажется, что при такой игре можно всё: например, устраивать из шахматных фигур хоровод, баюкать, бросаться ими друг в друга.

Вот и всё, что нужно было вам рассказать.

А игра после мата очень напоминает постмодернизм.

«Темнеет парус одинокий»

Где-то в середине девяностых, по-купечески отдуваясь от сытости, в Париж проследовал пузатый комод «Самиздата века». И вот уже я листаю мелованные страницы — и из шёлкового шелеста выплывает:

Пушкина играли на рояле.
Пушкина убили на дуэли.
Попросив на блюдечке морошки,
Он скончался перед книжной полкой...

Подпись: Сергей Чудаков.

Это ему, «...похитителю книг, сочинителю лучшей из од на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой», посвятил Бродский прижизненный некролог.

Сквозь папир волюма видится бескровное лицо, будто он просидел с рожденья в «Яме»; ковбойка без пуговиц, школьный портфель. В портфеле — книги, несомненно, ворованные у знакомых.

Чудаков был вездесущ, всеяден, всезнающ — «сын вдовой кондукторши от то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой» (опять же Бродский).

Человек с тёмным прошлым, настоящим и будущим.

Чего только не рассказывали о нём он сам и другие! Какие только не пускали слухи!

Говорили — рождён в Магадане, в семье начальника лагеря.

Говорили — книжный вор и сутенёр.

Говорили — содержатель притона. Чтобы не зависеть от власти, поставляет малолеток свидригайловым новым времён.

Говорили — покупает капроновые чулки с чёрной пяткой девятиклассницам, которых сбывает дипломатам республики Чад.

Торгует поддельными рецептами на кодеин.

Торгует албанской травой.

Крадёт книги. Крадёт вещи. Крадёт добро у государства.

Говорили: шантаж, эпатаж, съёмки порнофильмов, тюремные психушки.

Он был властителем дум на «Психодроме» — плешке перед журфаком на Моховой.

Под липами, пахнущими марихуаной, перед млеющими сокурсницами небрежно бросал:

— Караян? Но он же вагнерианец!

Человек с абсолютным слухом:

— Заметили? В «Даре» у Набокова в строке: «ты полумнемозина, полумерцанье в имени твоём» зашифровано имя Зины Мерц!

Был с треском отчислен с третьего курса журфака — сдавал вступительные экзамены за деньги по фальшивым бумагам; был схвачен ментами; далее — арест, суд, принудительное лечение в психушке.

...Блистательная грязь. Гнилушка. Лжец.

Злой гений.

Просто злой.

Просто гений — лучший русский поэт середины XX века:

В министерстве осенних финансов
 Чёрный лебедь кричит на пруду
 О судьбе молодых иностранцев,
 Местом службы избравших Москву.

Чудаков знал всех. Все знали его. Его стихов не знал почти никто:

С милицейских мотоциклов
Документы проверяют:
По наклонной, по наклонной,
По наклонной я качусь,
Я законный, я исконный
Ультралюмпенпролетарий,
Кроме секса, кроме страха,
Я лишён гражданских чувств.

Подобно тому как сыроежка стыдливо укрывает от взоров розовый ребристый испод, он прятал, как тайный порок, изумительную изнанку души, с её серебристым бархатом плесени. Скрывал талант как позор.

С людьми был по ту сторону добра и зла. С Музой — безупречен. И Муза прощала ему сутенёрство, воровство и обманы, ибо поэзию он не обманывал никогда.

Как джинн в надёжно запечатанную бутылку, заточил он сам себя, по ту сторону мрачка...

...Умирал и вновь воскресал. Исчезал бесследно, воскресал бесщётно. Умерев, появлялся вновь, как ни в чём не бывало, со своим бесцветным ликом и в пиджаке с карманами, набитыми ворованными томиками акмеистов.

Однажды ему эпитафию написал Иосиф Бродский — а он и воскрес. Однажды он ушёл, вроде навсегда. Никто не узнал никогда, куда и зачем.

Испарился. Исчез, как дым.

Растворился? Сдался в плен небытия? Даже фотографий не осталось, кроме одной, на волчьем поддельном билете...

Да был ли Чудаков? А может, он — сон?

А может, жив ещё? Чем чёрт не шутит...

...В январе прошлого года я пришла в книжный магазин у Китайской стены. В отделе поэзии лысый, худой, согбенный старик блистательно воровал книги. Я, замирая, залюбовалась: он воровал ловко, изящно, изысканно — и одновременно грубо, нахально, словно бесплотный дух — человек-невидимка для продавщиц — а может, он их держал под гипнозом, как Мессинг?

Казалось, одна я и могла его видеть — он же меня в упор не замечал, словно это я была под шапкой-невидимкой.

Вот старик отсосался от стеллажей, отвалился, двинулся к выходу, битком набитый поэзией, — и вдруг обернулся, взглянул мне прямо в глаза — на секунду блеснула бешеная чудаковская синь, безуминка, причудливо светящаяся точка — и вот уже плетётся к выходу немощный лысый старик, шаркая ногами, сутулясь, в изношенном пиджаке, раздувшемся от ворованных книг. И показалось, будто под хитиновыми полами расправляется скомканная кисея крыльев серой божьей коровки.